

Л. Н. Митрохин

## О феномене А. А. Зиновьева\*

Александр Александрович Зиновьев — один из немногих русских социальных мыслителей, которого в прямом, буквальном смысле можно аттестовать как «ученого, получившего мировую известность». Его творчеству посвящены сотни статей, книг, обзорных работ и рецензий. В них мы находим лестные сопоставления его с подлинными светочами культуры: Свифтом, Вольтером, Рабле, Гоголем, Салтыковым-Щедриным.

Может, конечно, возникнуть мысль о том, что комплименты в его адрес объясняются политическими и идеологическими соображениями; его приветствовали прежде всего как автора, который выступил с беспощадной и бескомпромиссной критикой советского социального строя, и этот факт не мог не вызвать бурного ликования в стане советологов.

Однако в обстановке «холодной войны» никогда не было недостатка в предельно эмоциональных обличениях и «Великого террора», и агрессивной сталинской внешней политики. Говоря же о произведениях А. А. Зиновьева, многие весьма авторитетные интеллектуалы Запада прежде всего подчеркивают другое, а именно: высокий профессионализм его работ, широких по своей тематике: логика, методология, социология, литература. Приведу некоторые факты. Многие знаменитые специалисты (Айдукевич, Бохенский, Айер и другие) включали его в число крупнейших ло-

---

\* Опубликовано: Вопросы философии. 2007. № 4.

гиков века. В 1978 г. А. А. Зиновьев получил премию за лучшее европейское эссе по социологии, а в 1982 г. — престижнейшую премию Токвиля. Не кто-нибудь, а сам Раймон Арон, представивший книгу Зиновьева «Коммунизм как реальность», назвал ее первой и «единственной научной работой о реальном коммунизме». Комиссия, принимавшая решение о премии, из двух конкурировавших кандидатов — К. Поппера и А. Зиновьева — отдала предпочтение второму, и книга стала мировым бестселлером, признанным учебником при изучении советской социальной системы.

Это о научном уровне работ Александра Александровича. А вот отзыв о нем гениального Эжена Йонеску: «Один из самых больших современных писателей с точки зрения чистой литературы, быть может, самый большой из всех». Но это все зарубежные авторы, скажут мне. Да, у нас отношение к Зиновьеву и оценки его работ были другими. Он был официально объявлен врагом советского строя, изгнан из страны, одно лишь упоминание его имени приравнивалось к проявлениям антисоветских взглядов. Но не является ли такая, со страхом смешанная реакция, очевидной, хотя и «превращенной» формой признания исключительного культурного достоинства его творчества?

Мне по-своему повезло: несколькими годами позже А. А. Зиновьева я учился на кафедре логики философского факультета МГУ, и более полувека назад у меня с ним установились тесные дружеские отношения. Нас сближало многое. И неприятие догматизма и кустарщины, насаждавшихся руководством кафедры, и непризнание кефира в качестве лучшего из возможных напитков, и предельно деловые, но одновременно полные веселого юмора заседания в редколлегии журнала «Вопросы философии», и работа над очередным номером известной на всю Москву стенной газеты Института философии, своими язвительными заметками и карикатурами наводившей ужас на номенклатурных корифеев (не случайно бюро райкома КПСС два раза привлекало к партийной ответственности ее редакторов).

Хорошо помню я и свои поездки в Мюнхен и свои хлопоты (я тогда был заместителем директора Института философии), чтобы облегчить процедуру возвращения А. А. Зиновьева на Родину. И хотя о знаменитом товарище написано много, остались какие-то, на мой взгляд, поучительные события и эпизоды из его жизни, читателю не известные. И мне давно хотелось рассказать о нем, как об ученом и удивительном человеке, не похожем на всех других.

И вот такая возможность представилась, но одновременно обнаружили и невероятные трудности. Дело не только в гро-

мадном объеме его произведений и причудливых изгибах судьбы. Зиновьев пишет предельно сжато и плотно, изложить его тщательно отработанные рассуждения короче, чем это сделал он сам, невозможно. У него по-своему популярный стиль, подобно тому, как можно считать популярным справочник по сопротивлению материалов. Но рассуждения эти, как правило, неожиданны и парадоксальны, они развиваются наперекор традиционным и общепринятым представлениям; они являют собой нечто большее, чем набор уже зафиксированных суждений, и всегда открыты для дальнейших перспективных размышлений. Однако обозначить все возможные (и желательные) векторы последних — задача едва ли выполнимая. Не менее трудной оказывается попытка пересказать его литературные произведения: вырванные из текста красочные, удивительно лексически богатые фразы и образы явно блекнут.

Но раз я уже втянулся в это благородное, но отчасти авантюрное мероприятие, то с помощью моего собеседника все же постараюсь реализовать свое намерение. Конечно, в первую очередь меня интересовала научная деятельность А. А. Зиновьева. Но для этого ему прежде всего нужно было демобилизоваться из армии. И я попросил его рассказать о том, как выглядел этот, в общем, даже рискованный поступок.

**А. Зиновьев.** Поступок для меня вполне естественный. Дело в том, что еще в школе, слушая рассказы людей о прошедших временах, современной жизни, планах на будущее, я все больше и больше стремился разобраться в том, как и по каким законам развивается общество, почему у большинства людей, да и у меня самого так трудно складывается жизнь. Мне казалось, что ответ я смогу найти прежде всего в философии, в диалектике, которую тогда определяли как науку об общих законах природы и общества. Поэтому я и поступил в МИФЛИ. Но спокойно его закончить мне не удалось. Здесь я вступил в тайный кружок, который готовил покушение на Сталина. Меня, как и других его участников, арестовали. В КГБ пришли к выводу, что я был простым исполнителем, а им было важно раскрыть всю структуру «заговора»: руководителей, связанных и т. д. Поэтому было решено меня под суд сразу не отдавать, а поселить в отдельной квартире и организовать за ней скрытое наблюдение. Но мне удалось бежать. Около года я скитался по стране, меняя место проживания, а порой и фамилию. В конце концов меня все же обнаружили и предложили выбор: тюрьма или фронт. Прошел войну от ее начала до конца, сражался сначала в танковых частях, а потом в авиации. Закончил войну в чине капитана. Мысль разобраться, что же творится в этом мире,

меня никогда не оставляла; и в МИФЛИ, и на фронте я использовал каждую минуту для самообразования, читал книги, беседовал с бывалыми людьми, что-то записывал. Поэтому как только представилась возможность вновь вернуться в институт, я не колеблясь решил ею воспользоваться. Это произошло при довольно забавных обстоятельствах.

Война закончилась, но наша часть штурмовой авиации оставалась в Вене. В течение недели мы регулярно совершали тренировочные полеты. Самым трудным днем был понедельник — после воскресной пьянки. И вот в один из таких дней произошло чрезвычайное происшествие: мы сорвали задание и даже повредили несколько самолетов. Нас собрали на летном поле, и командир дивизии обрушился на нас едва ли не с кулаками. «Ну а кому надоело служить в армии, пусть открыто заявит об этом и сделает шаг», — закончил он, уверенный, что таких не найдется: все знали — вне армии нас ждет полуголодное существование. Из всей длинной шеренги вперед шагнул только я. «Тогда пишите рапорт о демобилизации», — сказали мне. Написал.

А в это время началась массовая демобилизация, расформировывались целые полки и дивизии. И сложилась комическая ситуация. Все мои сослуживцы уже ушли из армии, а я, единственный, кто подал рапорт, по-прежнему числился на военной службе. Дело дошло до генерала, командующего военно-воздушными силами. Он вызвал меня и спрашивает: «Почему вы решили уйти из армии? Хотите, мы пошлем на переподготовку, вас повысят в звании». Я отвечаю: «Это не входит в мои планы». — «Хорошо, тогда пошлем вас учиться в академию. Станете офицером». Я снова отказываюсь. «Чего же вы хотите?» — «Я хочу реализовать свое призвание». Он молча, то ли с одобрением, то ли подозрительно посмотрел на меня и быстро подписал рапорт.

МИФЛИ к этому времени перестал существовать. Его исторический и филологический факультеты присоединили к соответствующим факультетам МГУ, а философский был преобразован в самостоятельный факультет университета. Так что никаких сомнений, куда поступать, у меня не возникало.

**Л. Митрохин.** Одним из главных переломных моментов твоей жизни стала кандидатская диссертация «Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале “Капитала” К. Маркса)». Как ты пришел к этой теме? Я помню, что в начале 50-х годов анализ логики «Капитала» нами, студентами, рассматривался как одно из новых и наиболее перспективных направлений философских исследований. В это время логика наряду с психологией стала

преподаваться в школе, был переиздан учебник Чел-Панова, а несколько позже вышли учебники В. Ф. Асмуса и М. С. Строговича; на факультете была создана кафедра логики, на которой сразу же вспыхнули споры относительно фразы Ленина «не надо трех слов» и бурная дискуссия в «Вопросах философии» о соотношении формальной и диалектической логики, на которой руководитель кафедры В. И. Черкесов яростно критиковал Строговича и Асмуса за некритическое отношение к концепции формальной логики Г. В. Плеханова и игнорирование логики диалектической (если не ошибаюсь, в своей кандидатской диссертации М. Н. Алексеев даже предлагал «диалектические» силлогизмы). Напомню и о годовом курсе математической логики, который читала проф. С. Л. Яновская. Как бы то ни было, помимо Э. В. Ильенкова — а он издал книгу «Диалектика абстрактного и конкретного в “Капитале” Маркса» (1960) — Б. А. Грушин, М. К. Мамардашвили, Г. П. Щедровицкий, Г. С. Батищев, Ж. Абдильдин, В. А. Лекторский, Л. В. Скворцов и другие прямо или косвенно заинтересовались этой тематикой. В 1953 г. я тоже делал студенческий доклад «О логическом и историческом в “Капитале” Маркса» на заседании кафедры Т. И. Ойзермана. Даже М. М. Розенталь написал на эту тему толстую книгу. М. Н. Алексеев в книге «Диалектика форм мышления» (1959) утверждал, что ведущим специфическим методом познания в марксистской философии является метод восхождения от абстрактного к конкретному.

Но все это было позже. Сейчас же я хочу поговорить о самой ранней стадии широкого обращения к этой тематике, ее, так сказать, хронологии. Меня смущали некоторые положения в предисловии К. М. Кантора к твоей кандидатской диссертации, опубликованной Институтом философии в 2002 г. Он пишет: «Собственно наличие конкретного в сознании в отличие от конкретного в самой действительности и абстракции в сознании — это то, о чем сказал Маркс, и то, что у нас, в советской философии, очень четко зафиксировал Ильенков... Последовал второй удар, мощнейший, когда А. А. Зиновьев предложил свою методологию восхождения от абстрактного к конкретному... Вот, собственно говоря, то, что сделал Зиновьев в отличие от Ильенкова». Как соотносилась твоя диссертация с книгой Ильенкова (скажем, в понимании того, что такое диалектическая логика), в какой мере она способствовала возникновению многочисленной и достаточно разношерстной группы «ильенковцев» и т. д.? Да и что это означает — «второй удар»? Я всегда полагал, что ты занялся этой темой раньше всех и был основоположником этого направления. Причем шел к этой

теме не от истории философии. Помню, что как-то, говоря о своем подходе, ты упомянул аэродинамику. «Я просто попытался упростить и формализовать логическую структуру “Капитала” и увидел, что эта операция позволяет получить совершенно нетривиальное понимание диалектики и логики».

**А. З.** Я поступил в МГУ в 1946 г., и тогда этой темой никто не занимался. Когда я внимательно прочитал «Капитал», меня поразило не столько собственно политэкономическое содержание, сколько жесткость и разработанность его логической конструкции, и я решил, что она может быть предметом специального исследования. При поступлении в аспирантуру по кафедре логики я предложил ее в качестве темы кандидатской диссертации. Ты прав: вопрос о сути и самой возможности диалектической логики, о ее соотношении с логикой формальной тогда жаростно и, в общем, весьма бестолково обсуждался и на ученых советах, и в журнале. Наверное, В. И. Черкесов был уверен, что я напишу что-нибудь на том же примитивном уровне: формальная логика пронизана метафизикой, она устарела и преодолена Марксом, нужно разрабатывать качественно новую диалектическую логику, а авторитетные ссылки на «Капитал» лишь подтвердят эту установку, с позиции которой он критиковал «метафизиков». Когда же Черкесов увидел, что я рассуждаю на совершенно ином уровне, то, наверное, схватился за голову. Тогда руководство кафедры вместе с «диаматчиками» типа В. И. Мальцева, Попцова и др. организовали настоящий поход против присуждения мне ученой степени.

Теперь о хронологии. Конечно, проблемой восхождения я начал заниматься раньше Ильенкова. Некоторые идеи на этот счет я высказывал уже на 3-м курсе (1948), когда Эвальд еще не понимал всей важности и масштабности этой темы. К ней он приступил позже, подготовив книгу, которая стала событием в жизни факультета и среди старой гвардии вызвала единодушное осуждение. Но и в ней (в этом К. М. Кантор прав) он подошел к процессу восхождения от абстрактного к конкретному как философ, ограничившись общей характеристикой этого процесса. Я же стремился прежде всего вычленив в «Капитале» его логическую структуру, представить ее в универсальной форме, позволяющей ее использовать не только в политэкономии, но и в других научных сферах. Это, на мой взгляд, существенное различие сохранялось до самого конца.

Думаю, что уже Ильенкову грозила опасность свести все к идее такой «диалектической логики», которая имитировала бы тогдашнее понимание диалектики как «науки об общих законах развития природы и общества», понимание, для науки бесплодное. Но

Эвальд был человек думающий, и его воззрения ломали прежние догматические представления о сути теории познания. А вот его многочисленные последователи, составившие так называемую «ильенковщину», довели изначально здравые идеи до философского бесплодия.

**Л. М.** Тогда главный вопрос. Недавно я снова прочитал твою диссертацию. Ты действительно рассуждаешь, как сейчас любят говорить, на другом поле, чем все тогдашние специалисты: первостепенное внимание уделяешь выработке методологии, специфического категориального аппарата, с помощью которого этот предмет только и можно исследовать. Твоя работа вызвала яростный протест со стороны штатных ревнителей «диалектики». Почему? Ведь ты никого не критикуешь, не опровергаешь, не вступаешь в полемику с другими концепциями. Иногда, правда, ты отмежевываешься от тех экономистов и теоретиков революции, от которых отмежевывался Маркс. Но современные «диалектические логики» для тебя просто не существуют. Почему все же они так всполошились? Что это? Боязнь прецедента, отрицающего у них монополию на толкование Маркса и «диамата» в целом, осознание собственного профессионального примитивизма или что-то другое?

**А. З.** Думаю, и первое, и второе. Я действительно указывал на единственно адекватный, научный путь решения обсуждавшихся проблем. Ведь тогдашняя дискуссия зашла в тупик. То есть по инерции она сохраняла какой-то идеологический смысл (мы защищаем «чистоту марксизма»), но в научном отношении она была бесплодной. Хорошо, мы установили, что формальная логика противоречит диалектике (что неверно, поскольку она имеет свой предмет и в определенных рамках сохраняет свое значение). А что дальше? Ломать ее традиционные законы и правила, заменяя их на «диалектические» суждения и умозаключения? Но это же нелепость. Ничего ценного в методологическом плане такая процедура дать не может. Остается только выхватывать примеры из различных наук, выдавая это за демонстрацию эвристической плодотворности такого подхода. Но это опять-таки откат к прежнему догматическому пониманию логики как науки обо всем.

Мой подход был совершенно иным. Восхождение — это сложный и дифференцированный по своей структуре прием исследования, в котором в единстве используется множество более конкретных приемов и мыслительных навыков. В то же время восхождение — не есть схема в том дурном смысле, что его стоит лишь однажды открыть и затем как сложную, расчлененную боль-

шую посылку силлогизма распространять на различные частные науки. Применение его к частным случаям должно совершаться с учетом всей совокупности развития данной науки, начиная от конкретной задачи исследования и кончая особенностями исследования данного предмета. Одним из приемов, которые при этом используются, могут быть приемы формальной логики, например, «элементарная абстракция» или силлогистика, которые ею изучаются. Но это не означает, что принципы формальной логики, например, принцип «непротиворечивости мышления», включаются в процесс восхождения и рассматриваются как абсолютные регуляторы этого процесса. Они проявляются в нем как некие детали, стороны, технические средства, осуществляющие свои конкретные и достаточно скромные функции. На этих проблемах я останавливаюсь в приложении к диссертации «Отношение восхождения к приемам формальной логики».

Таковы были мои соображения, заставившие всерьез заняться этой проблематикой. Сказалось и другое, весьма существенное обстоятельство. Защита диссертации заняла несколько месяцев. То ее откладывали, потом созывался ученый совет, но поскольку он не приходил к единогласному решению, решение откладывали до следующего заседания. Так было трижды, и каждый раз я был вынужден отвечать на массу нелепых вопросов, которые задавались людьми, ничего не понимавшими и не желающими всерьез понять, в чем же состоит суть новизны моей работы. Наконец было решено передать ее непосредственно в ВАК, который в конце концов и принял решение о присуждении мне кандидатской степени.

**Л. М.** Мне бросилась в глаза еще одна особенность твоей диссертации. С одной стороны, ты понимаешь радикальную новизну своей работы. С другой — постоянно подчеркиваешь, что это лишь первый шаг в создании новой исследовательской дисциплины, что работа по изучению диалектических форм мышления, проделанная тобой на материале «Капитала», должна быть продолжена в сфере других наук. Может быть, именно эта установка так переполюшила огнеупорных догматиков.

**А. З.** Но обстановка вокруг меня на факультете становилась все более враждебной. Все это мне надоело, и в 1955 г. я перешел на работу в Институт философии АН СССР. Естественно, прежде всего я занялся подготовкой моей диссертации к печати. После основательной работы подготовил текст и показал его П. В. Копнину, который тогда заведовал кафедрой диалектического материализма, и как человек творческий и независимый весьма сочувственно



относился к моим идеям. Он прочитал рукопись и сказал примерно так: я полностью разделяю твою точку зрения, но в таком виде ее не разрешат к печати. Во всяком случае, директор Института П. Н. Федосеев пока всячески препятствует публикации книги Э. В. Ильенкова на сходную тему. Поскольку ты выступаешь в ней как логик, то советую пока публиковать отдельные статьи по неклассической логике, а там посмотрим.

**Л. М.** Когда я поступил в Институт (1958), то в дирекции меня попросили на некоторое время заняться издательской деятельностью, и я хорошо помню всю возню вокруг издания книги Ильенкова. Сам он часто жаловался: «Федосеев по-прежнему против. “Имеется, — повторяет он, — классическая формулировка процесса познания: от живого созерцания к абстрактному мышлению и через него к практике. А вы ее фактически опровергаете”. И сколько раз я ни пытался доказать ему, что совершенно адекватно интерпретирую метод познания у Маркса, он стоит на своем». Как ты знаешь, ее издали только в 1960 г. У меня сохранился экземпляр с дарственной надписью автора: «Прими сей многострадальный труд». Эвальд тогда не подозревал, что его главные страдания еще впереди.

**А. З.** Услышав такой совет П. В. Копнина, я подумал: скорее всего, он прав, и сжег рукопись.

**Л. М.** Страшный поступок: пропал такой гигантский труд.

**А. З.** Пропал не совсем. Я напечатал целую серию статей, в которых максимально использовал содержание этой рукописи. Позже, как ты знаешь, я составил из них книгу «Философские проблемы многозначной логики» (М., 1960).

**Л. М.** Тогда я должен вспомнить, как однажды мы в очередной раз сидели в ресторане «Иртыш», где нам в голову часто приходили неординарные мысли, и я проникновенно заявил: «Саша, кончай публиковать отдельные статьи. Они проходят как-то незамеченными. Мой совет: собери их воедино и издай в виде отдельной книги».

**А. З.** Я так и сделал, а поэтому хорошо помню этот разговор.

**Л. М.** А последствия были самыми невероятными. Это было время, когда советские философы активно прорывались через «железный занавес» на Запад (разумеется, с целью рекламы выдающихся достижений ленинско-сталинской мысли). В 1960 г. делегация советских философов под руководством П. Н. Федосеева участвовала в Международном конгрессе по логике, методологии и философии науки в Вашингтоне. Была развернута выставка новейшей философской литературы. Советским участникам пох-

вадать было нечем: их работы на иностранные языки тогда не переводились и зарубежным коллегам были неизвестны. Вдруг Федосеев, осматривая эту выставку, неожиданно обнаружил книгу А. А. Зиновьева «Философские проблемы многозначной логики», только что переведенную на английский язык. Он с восторгом стал показывать ее своим спутникам: «Смотрите, и мы не лыком шиты». В один момент ты превратился во всесоюзное достояние.

**А. З.** Да, вскоре все стали меня поздравлять и даже предложили срочно готовить докторскую диссертацию.

**Л. М.** Одновременно, насколько мне известно, твоя книга сразу же привлекла внимание серьезных специалистов по логике. Несколькими годами позже я в качестве переводчика сопровождал тогдашнего директора Института Ф. В. Константинова в поездке в Вену, где близко познакомился с Ю. Бохенским, известным советологом и автором классического труда «История средневековой логики». Помню, что он высоко отзывался о твоей книге и внимательно расспрашивал о тебе: над чем ты работаешь, имеются ли новые работы (он владел русским языком).

**А. З.** Я тоже встречался и беседовал с ним. Должен сказать, что когда я вынужден был эмигрировать, то первое время ощущал особое к себе внимание и профессиональных логиков, и специалистов по СССР, среди которых, кстати говоря, было немало удивительных невежд. По-моему, я говорил тебе в Мюнхене, что некоторые воспринимали меня как того самого Зиновьева, который был расстрелян в 1937 г. Но когда все они поняли, что я исследую проблемы логики на совершенно ином уровне и могу быть для них опасным соперником, то благожелательное отношение сменилось на явно враждебное. Так, мои новые работы и идеи сознательно замалчивались, что, впрочем, не мешало многим советологам беззастенчиво красть мои соображения и выводы.

**Л. М.** Да, я помню, что ты подробно говорил мне об этом в Мюнхене. Кроме того, я знал, что целый ряд не только отечественных, но и весьма почитаемых на западе зарубежных логиков (ранга Черча и Клини) крайне недоброжелательно высказывались о твоих работах. Но справедливость требует отметить и другую сторону: многие крупнейшие зарубежные логики высоко отзывались о тебе как об основоположнике новой логической школы. Образцом может служить хотя бы тот факт, что тебя избрали почетным членом Финской академии наук. Мне также известно, что многие начинающие специалисты делали твою концепцию предметом специального изучения. Как бы ты в двух словах охарактеризовал свои главные достижения в этой области?

**А. З.** Сами обстоятельства моей жизни распорядились так, что выбор определился сам собой, независимо от моих намерений. Я уже говорил, что был вытолкнут моим начальством и коллегами именно в логику, поскольку я был беспартийный и критически относился к марксизму, а логика считалась идеологически нейтральной. И я с увлечением погрузился в изучение логики, причем — математической.

**Л. М.** Любопытное совпадение. Я также долго оставался беспартийным, начинал с идеологически ответственного исторического материализма и курсовую работу на 2-м курсе о либеральных народниках написал под руководством В. Ж. Келле (кстати сказать, по его оценке, не ахти какую). Но после ареста отца в 1950 г. был вынужден перейти на «беспартийную» логику и диплом писал уже о законе достаточного основания, а кандидатскую — о логической концепции прагматиста Ф. К. С. Шиллера. Я даже помню, как ходил на твои лекции по математической логике.

**А. З.** При этом моя деятельность шла по двум линиям. Первая — овладение достижениями математической логики и участие в разработке ее формального (математизированного) аппарата. Думаю, что здесь мне удалось добиться значительных результатов. Основные из них изложены в публикациях 60-х и начала 70-х годов прошлого века. Часть из них изложена в сборнике «Очерки комплексной логики» (Эдиториал УРСС. М., 2000). Они относятся к сфере так называемой неклассической математической логики, точнее говоря — к многозначной логике и к теории логического следования. В России и Восточной Германии у меня сложилась логическая группа, получившая высокую оценку в кругах западных логиков. Мои работы переводились на иностранные языки, главным образом на английский и немецкий. В 1975 г. в Германии (совместно с Х. Весселем и в его переводе) была издана моя работа «Логические правила языка», в которой я построил полный курс логики. Основное содержание этого курса — определения понятий (т. е. слов, терминов) и умозаключения (т. е. получение из данных высказываний новых), а также более сложные конструкции из понятий и высказываний.

Результаты эти получили международную известность. За них я был избран в академию наук Финляндии, логическая школа которой имела мировую репутацию. Западными специалистами я включался в число крупнейших логиков мира и регулярно получал личные приглашения на международные конгрессы как логик (но ни разу не был выпущен). И в России меня терпели коллеги и даже частично поддерживали власти. Это продолжалось до тех

пор, пока моя деятельность в основном ограничивалась рамками математической логики, ставшими традиционными (даже рутинными) и признанными в узких кругах профессионалов и даже в советской философии. Но положение резко изменилось, когда моя деятельность вышла за эти рамки.

Состояние логики, уже обросшей предрассудками и ложными идеями (на мой взгляд), меня не удовлетворяло. Я начал разработку логической теории, радикально отличающейся от всего того, что было сделано в логике в прошлом и делается в настоящем. Я назвал ее комплексной логикой. Суть этой теории заключается в пересмотре предмета логики вообще, объема рассматриваемых в ней объектов, метода самой логики (методов решения ее проблем, ее собственного аппарата, рассчитанного на какое-то внешнее применение, а не на свои внутренние нужды) и сферы ее приложений.

Задуманная мною реформа логики, как я предвидел, должна была породить негативное отношение в профессиональной среде. Вместе с тем результаты моих исследований так или иначе давали о себе знать. Я это замечал в работах многих логиков, как правило, — без ссылок на мои работы, хотя они были широко известны. Думаю, что я опередил эволюцию логики лет на 30 или 50. Например, я уже лет 30 назад построил логическое исчисление, в котором имели силу знаменитые геделевские результаты, и решил все связанные с ним проблемы (включая проблемы полноты, разрешимости и непротиворечивости). К таким же результатам западные логики стали подходить лишь недавно. Кроме того, в этих исчислениях я ввел оператор неопределенности, ранее не известный в логике и опять-таки появившийся недавно. Мои работы с изложением таких исчислений начали широко публиковаться на английском языке — международном языке логики — более четверти века назад. Каковы же были мои фундаментальные идеи на этот счет?

Начну с вопроса, что является предметом логики как особой науки. Ответ представляется очевидным и общепринятым: законы правильного мышления. Но что такое мышление? Деятельность мозга? Но логика как наука появилась давно, а деятельность мозга стала предметом научного исследования совсем недавно. Что значит — правильное мышление? Проанализируйте ответы, и в итоге вы получите: правильным мышлением считается мышление по законам (правилам)... логики. И глубже этой тавтологии дело не идет. А попытки объяснить, как именно логика изучает мышление, так или иначе кончаются тем, что в качестве правил «мыш-

ления» приводятся операции с объектами языка — со словами и предложениями.

В отношении природы правил логики сложилась и приобрела силу предрассудка философская концепция, будто эти правила суть отражение неких общих законов бытия. Например, на вопрос, почему из суждений «Все люди смертны» и «Сократ есть человек» логически следует «Сократ смертен», философы (а логика существовала в рамках философии) отвечали: так устроено бытие. Тем самым вопрос о природе правил логики вообще отбрасывался, и эти правила предлагалось изучать и заучивать без объяснения.

Математическая логика, сделав вклад в методы логических исследований, сместила основное внимание к разработке формального аппарата логики и тем самым превратила технические средства логики в ее содержание, ее предмет. Предмет логики при этом несколько не расширился, понимание его не улучшилось, а логические средства были неимоверно раздуты. Но сложилась новая система предрассудков и ложных концепций. Например, убеждение, будто законы логики зависят от предметной области (отсюда идея особой логики микромира), будто они не универсальны, будто имеют непосредственное приложение вне сферы языка. В этом смысле произошла подмена правил логики математическим аппаратом, применяемым в вычислительных и информационных устройствах. Вместе с тем предметная сфера логики даже сузилась по сравнению с догматическим периодом логики (сравнительно с «философской» логикой) и произошло содержательное ее обеднение. Например, была совсем заброшена часть логики, называвшаяся в доматематический период индуктивной логикой.

Ограничив сферу логики в смысле охвата проблем и сведя логические исчисления к чисто техническим (математическим) задачам, математическая логика включила неявно и порою явно в решение чисто логических проблем внелогические посылки и допущения, так что получилась деформированная (смещенная) теория: она не включила в себя то, что необходимо для логики как особой науки, и включила то, что должно быть исключено из логики. В результате создались затруднения, несравненно усложнившие и даже вообще исключившие решение целого ряда логических задач. Логика утратила суверенитет особой науки, лежащей в основе всех прочих наук, включая математику. И как бы это ни показалось странным, в математике до сих пор отсутствует универсальная теория доказательства (она даже отвергается), ибо построение такой теории возможно лишь в рамках логики, не зависящей от математики.

Согласно моей концепции, которую я назвал комплексной логикой, предметом логики как особой науки является язык. Язык не вообще во всем проявлении своих признаков и функций в человеческой жизни, но лишь в одном его качестве, составляющем его социальную сущность, а именно — как вещный (материальный) способ существования человеческого сознания, искусственно изобретенный людьми и не наследуемый биологически, отделяемый от человеческого тела, а не остающийся в его мозгу как средство познания людьми окружающего мира, включая их самих и их жизнедеятельность, как знаковое средство фиксации приобретаемых знаний, их хранения и передачи новым поколениям, как средство использования людьми новых знаний для получения новых знаний и в практической деятельности. При всем этом логика имеет свой специфический, только ей присущий подход к языковым явлениям.

Логика выделяет (абстрагирует) в языковых явлениях определенные структурные компоненты, а именно такие, которые образуют структуру знаний, — термины, высказывания (суждения), терминообразующие и высказывающие операторы и другие производные от них и обслуживающие их знаки. Выделяя их, логика устанавливает, что они функционируют в языке. Но она не ограничивается этим. Это только и начало, и предпосылка для ее предварительной работы. Последняя заключается в их особой обработке, в их усовершенствовании и изобретении новых, а также в установлении точных правил оперирования ими — правил или законов логики. Вопрос о понимании правил логики является ключевым для понимания логики вообще, человеческого сознания и средств познания, языковой практики.

Язык состоит из совокупности предложений, построенных по правилам некоторого (русского, английского и т. п.) языка и образующих его базис, а также из совокупности построенных на этом базисе дополнительных средств — формул, графиков, таблиц, схем и т. п. Предметом логики является лишь то, что охватывается терминами «высказывание» («суждение»), «термин» и логический «знак» (или «логический оператор»). Примеры логических операторов: «и», «или», «не», «если... то...», «этот, который...».

Правила логики (логические правила) суть оперирование высказываниями и терминами (и, естественно, входящими в них логическими операторами). Эти правила не открываются людьми в окружающем их мире, а изобретаются вместе с появлением и совершенствованием навыков конструирования терминов, высказываний, действий с ними. Логика как особая наука, приступая

к изучению этих правил, сталкивается со следующим обстоятельством. Она обнаруживает эмпирически данными определенного вида термины, высказывания (и содержащие их операторы) и уже функционирующими некоторые правила обращения с ними. И с этой точки зрения, правила, устанавливаемые логикой, имеют опытную основу. Но логика вместе с тем обнаруживает, что свойства определенного вида терминов и высказываний (и содержащих их операторов) установлены лишь для некоторых случаев их употребления, а не для любых возможных ситуаций; свойства эти установлены неотчетливо и не с предельной общностью (нередко в связи с конкретным видом языковых форм); не установлены отношения различных операторов. Устраняя эти недостатки, логика продолжает творческую деятельность по разработке и совершенствованию упоминавшихся средств языка науки, и с этой точки зрения, логические правила оперирования этими средствами языка суть не что иное, как определения свойств логических операторов и содержащих их терминов и высказываний.

Кроме того, сами методы логики позволяют разработать точные правила не только для фактически встречающихся ситуаций, но и для любых логически мыслимых (возможных) ситуаций, а также оценить логически возможные виды терминов, высказываний, операторов, которые, может быть, еще не употребляются в науке. Во всяком случае, получив некоторый материал для работы, а также своего рода задания и ориентиры, логика делает свое дело уже независимо от этого материала, исследуя логически возможные случаи и устанавливая для них соответствующие правила. И с этой точки зрения, логику можно считать априорной наукой, результаты которой имеют силу для любой науки, если только последняя вводит в обиход элементы языка, подпадающие под описанные в логике типы.

Логика, далее, изучает свойства терминов и высказываний, не зависящие от того, являются ли они терминами и высказываниями физики, химии, биологии, истории или какой-либо иной науки. Она изучает правила, общие любым терминам и высказываниям с определенной структурой, и не рассчитана ни на какую науку специально. Нет логики специально для математиков, физиков, историков, ибо логика находит в науке именно то, что она ищет: правила, которые не зависят от сферы науки, от особенностей той или иной предметной области. Таковы предельно беглые характеристики моей концепции логики, для ее серьезного понимания, однако, необходимо обратиться к соответствующим публикациям.

**Л. М.** Насколько я понимаю, твои логические работы получили широкую, даже мировую известность. Почему же ты вдруг так круто расстался с логической проблематикой и все силы сосредоточил на написании «Зияющих высот», по существу яростного политического памфлета, который вскоре стал мировым бестселлером? Не потому, наверное, что власти не пустили тебя в Финляндию на конференцию Финской академии наук?

**А. З.** «Зияющие высоты» — вовсе не первая моя работа, затрагивающая политические проблемы. Еще во время учебы в МИФЛИ, а особенно во время пребывания в армии, я написал множество коротких пародий, сатирических эссе и рассказов о проявлениях глупости, подхалимства, лицемерия. Они имели огромный успех у моих сослуживцев и товарищей. Многие из этих зарисовок многократно перепечатывались, обычно на папиросной бумаге, и имели широкое хождение. Наиболее активно на литературном поприще я трудился в Институте философии, когда постоянно обнаруживал свои тексты в самиздатских публикациях, часто без указания автора или под чужим именем. Уже одно это подталкивало меня к мысли как-то собрать эти отдельные зарисовки и памфлеты в единое целое.

Но главное было не в этом. Со стороны может показаться, что во всех подобных работах я выступал не как специалист (философ или логик), исследующий сугубо научные проблемы, а в новом для себя качестве — то ли начинающего писателя, то ли журналиста. Однако сам я вовсе не воспринимал литературные опыты как некую параллельную деятельность, так сказать, сосуществующую рядом с научными исследованиями. Для меня это была органическая часть вполне амбициозной задачи, которую я постепенно осознавал как свое главное призвание, а именно: строго адекватное и достоверное познание мира, выявление скрытых механизмов, приводящих его в движение, хотя и не бросающихся в глаза с первого взгляда. Делая зарисовки отдельных людей или бытовых эпизодов, сочиняя сатирический рассказ или пародию, я каждый раз видел в них способ выявления каких-то атомов, кирпичиков, которые, складываясь в различных пропорциях и конфигурациях, образуют общество в целом. И тогда, естественно, рано или поздно появлялось искушение суммировать, слить эти отдельные детали в единое целое, воссоздать облик общества, в котором мы живем. «Зияющие высоты» и стали первым масштабным результатом такой работы.

**Л. М.** Помню, что все сотрудники и Института, и «Вопросов философии» крайне болезненно переживали тот факт, что перед



отъездом тебя лишили гражданства, всех званий, боевых наград и грубо, жестоко выбросили в чужую, враждебную (а мы это знали) тебе среду. Постоянно делились скудными, случайными сведениями, как тебе живется, не сломался ли ты. Все это невольно ассоциировалось с судьбой А. И. Солженицына, М. Л. Ростроповича. Причем переживали даже люди, так или иначе причастные к твоему изгнанию. Я хорошо знал сына могущественного заведующего управлением кадрами АН СССР, генерал-лейтенанта Г. А. Цыпкина, который и объявил тебе это решение. Так вот, по рассказам сына, отец очень тяжело переживал эту сцену, особенно твои слова: «Геннадий Александрович, вы же сами боевой генерал, прошли фронт и знаете цену военным наградам. Как же вы можете требовать, чтобы я вернул свои боевые награды?» Отец, вспоминал сын, сказавшись больным, срочно уехал на дачу и несколько дней пил.

И вместе с тем нас долго волновал один деликатный вопрос. Впервые о «Зияющих высотах» я узнал от Мераба Мамардашвили, когда отдыхал у его родственницы в Пицунде. Причем говорил он с раздражением и упреками в твой адрес. По его словам, в главных героях книги («социолог», «претендент», «мыслитель», «мазила» и др.) легко угадываются реальные люди — это близкие тебе коллеги, друзья. И разговоры, которые они ведут, довольно точно воспроизводят реальные встречи и застолья. В книге немало и отдельных характеристик внешности, манеры одеваться, говорить, напоминающих наших знакомых. Особенно убийственны тщательно выписанные сатирические эпизоды поведения ибанских правителей. Так, сцена, когда вождю дружественной африканской страны никак не удается увернуться от жарких поцелуев главного ибанца, моментально ассоциируется с Брежневым и запоминается навсегда. В героях «Светлого будущего» угадывается не только Ф. В. Константинов, но и некоторые наши товарищи, заслуживающие только уважения. Без особого труда расшифровывается «Нелькин кружок» и его главные участники. А поскольку эти персонажи обычно довольно критически высказываются об уродливых порядках, царящих в Ибанске (которые ассоциируются с советскими), а их поведение не отличается особыми добродетелями, то нетрудно было предположить, что партийные и кагебешные начальники воспримут эту книгу как неоспоримое свидетельство того, что у них под боком зревает едва ли не идеологический заговор, и с пристрастием будут доискиваться, кто является реальным прототипом того или иного литературного героя, действительно ли этот прототип придерживается зловердных «подрывных» идей.

Так и случилось. Как мне рассказывали, многих из таких потенциальных подозреваемых вызывали в ЦК КПСС и настойчиво пытались выяснить, кто такой «претендент», «мыслитель» или, скажем, «болтун» и «клеветник». Особенно забавно было с «социологом». Как человек с бородой, в нашей среде тогда редкой, он у тебя внешне похож то ли на Ю. Замошкина, то ли на Б. Грушина, и компетентные органы ломали голову — кто же он на самом деле. Кстати, с подобными упреками выступил и Трушин в небезызвестной статье в «Независимой газете», где был напечатан твой рисунок, на котором ты как бы «прислушиваешься» к разговорам присутствующих. Ю. Ф. Карякин даже рассказывал, что, возмущенный намеками на его связь с КГБ, он ночью помчался к тебе домой, чтобы устроить шумную разборку, но в конце концов передумал. Кстати сказать, именно он попытался внятно объяснить эту особенность романа: «Зиновьев, перешагнувший через такие препятствия, был прежде всего озабочен тем, чтобы выстроить жесткую систему типажей, и считал, что он вправе не замечать всех этих мелочей».

**А. З.** Мне кажется, что все это объясняется просто. Я уже говорил, что это была первая серьезная попытка как-то обобщить прежде разрозненные зарисовки и рассказы. Чтобы понять, что в результате получилось, нужно представить, в каких условиях он писался. Меня уволили со всех постов, отключили телефон. Я не мог встречаться с друзьями, не рискуя навлечь на них беду, каждую минуту был готов к обыску, прекрасно понимая, что меня ждет, если отрывки романа попадут в руки кагебешников. Я писал и сразу же отдавал страницы жене Ольге, которая их печатала. Я понимал, что нахожусь под негласным надзором, а поэтому она, чтобы не привлечь внимания соседей, либо ставила машинку на пачку газет, либо печатала в ванной, включив воду. После этого сразу же отдавала напечатанные страницы для переправки за границу. Основная забота состояла в том, чтобы страницы рукописи как можно меньше времени находились в квартире.

Иными словами, я вынужден был постоянно держать всех многочисленных персонажей рождающегося романа, все их характеристики, взаимоотношения, предмет и развитие спора (а они составляют его значительную часть) в голове, не имея никакой возможности вернуться к ранее написанному, что-то уточнить, переписать, вставить. Этот адский, лихорадочный труд длился шесть месяцев, в течение которых к вечеру я часто едва держался на ногах. Весь этот довольно большой роман складывался из ежедневных порций текста. Естественно, перечитывая его в спокойной

обстановке, нетрудно увидеть огрехи и нестыковки. Но без них, наверное, роман был бы другим и воспринимался иначе.

В соответствии с моим замыслом я никак не был хроникером, описывающим окружающих меня людей, реальные мнения и разговоры. Я стремился выделить систему максимально типичных для нашего общества персонажей, неких кирпичиков, создающих специфику ибанского общежития. К тому же это было литературное произведение, и нужно было подумать и о читателе: выдержать и логику и, так сказать, интеллектуальную детективность сюжета. Естественно, исходным материалом были прежде всего люди, с которыми был так или иначе знаком, но я стремился осмыслить, художественно обработать эти первичные впечатления, создать серию характеров, различающихся между собой какими-то внешними чертами, манерой разговора и поведения. Но я не профессиональный писатель, к тому же условия работы, как я уже говорил, были не самыми благоприятными. Поэтому процесс литературной обработки порой, вероятно, оставался незавершенным. Отсюда и совершенно неожиданное соотношение моих героев с реальными людьми. Так, ко мне до сих пор, кто с упреками, кто с радостью, обращаются многие люди, претендующие на роль прототипов главных персонажей книги. Мне же остается только их разочаровывать. Часто мне говорят: как тебе удалось написать такое большое произведение за полгода? Они не понимают, что такую книгу написать за несколько лет невозможно, для этого нужно именно полгода и ту атмосферу, в которой я работал. За несколько лет спокойного труда с многочисленными корректурами пишутся другие книги. Может быть, лучше, может быть, хуже, но не «Зияющие высоты».

**Л. М.** Здесь я с тобой согласен; такую книгу можно было создать только в особом авторском состоянии. Как известно, у нас роман сразу же был объявлен контрреволюционным произведением, и чтение его приравнивалось к антисоветской деятельности. Мне его с величайшей предосторожностью и только на одну ночь передал Ю. Ф. Карякин. Позже вместе с ним мы обменивались впечатлениями. Я не буду особо расписывать, какое громадное впечатление он произвел на нас неистощимой авторской изобретательностью, образностью, точностью социального диагноза, неистовым черным юмором. В то же время нам показалось, что текст местами выглядит рыхлым, в нем встречаются повторения, не всегда ясна сюжетная линия и т. д. В одном мы были согласны: роман написан на другом уровне, чем прежние диссидентские книги, с которыми мы оба были знакомы, и это придает ему такую энергетическую мощь.

В этой связи вспоминаю одну сцену. Во время пребывания в Нью-Йорке я позвонил Эрнсту Неизвестному, и он пригласил меня приехать к нему в студию. Зашла речь об общих друзьях, в том числе и о тебе. «Что Мераб, — говорил Эрнст. — Он человек талантливый, рассудительный. Но Сашка! Он гений. Он же человек неистовый, и эта его страстность, неукротимость захватывает читателя». Помню, я удивился: так говорил Эрнст, который, как ты помнишь, разве что Леонардо да Винчи отводил место рядом с собой. У тебя сохранились с ним прежние отношения? Ведь в свое время именно ты пригласил его выступить в Институте философии, и я до сих пор помню его могучие иллюстрации к «Аду» Данте. «Зияющие высоты» не просто принесли тебе всемирную известность. Это был твой первый значительный и триумфальный выход в политику. Они означали окончательный переход к социально острой злободневной тематике, обозначив ту особую форму твоей научной деятельности, в которой ты отныне описывал результаты своих исследований общества, а именно, художественный роман или «личностная социология».

Вместе с тем происходит еще и другой существенный поворот в твоих научных интересах. Я имею в виду социальные исследования — тема, которая шаг за шагом начинает доминировать в твоих работах. Но переход этот своеобразный. Уже «Зияющие высоты» ты расценивал как особую форму социальных исследований, но в литературной (художественной) форме. Теперь же параллельно появляются книги, написанные в жанре не социологического романа, а в традиционной форме теоретического трактата (например, «На пути к сверхобществу»). Что послужило причиной такого поворота?

**А. З.** Причина та же самая, как и в случае с логикой. Обратившись к социальным исследованиям, я был поражен их убожеством. За все годы существования советского строя о нем отечественными специалистами не было написано ни строчки, заслуживающей звания науки. Это можно вроде бы объяснить тем, что партийно-государственные правители всячески препятствовали правдивой картине о реальном социальном строе страны. Но многие советологи на Западе насочиняли тонны всякого вздора о реальном коммунизме, в котором найти зерно истины еще труднее, чем найти жемчужину в куче навоза. А сколько разоблачительных страниц насочиняли советские диссиденты, в которых ни одно слово не соответствует критериям научного понимания!

И уж совсем не укладывается в рамки здравого смысла тот факт, что все известные мне концепции и теории западного об-

щества оказались так же далекими от реальности западных стран, как сочинения советских авторов — от советской реальности. А ведь зарубежные авторы вроде бы не испытывали таких ограничений свободы творчества, какие выпали на долю их советских коллег. В чем, спрашивается, дело? Думаю, причина не в каких-то частных упущениях и ошибках, а в непонимании самой специфики социальных исследований.

Особенность социальных объектов состоит прежде всего в том, что люди сами суть объекты такого рода, постоянно живут среди них и в них, постоянно имеют с ними дело. Они должны уметь жить в качестве социальных объектов и в их среде. Для этого они вынуждены как-то познавать их, что-то знать о них. Они приобретают свои знания в ходе воспитания, обучения и образования, от общения с другими людьми, на личном опыте, из средств информации, из литературы и фильмов. Таким образом, у них складываются свои представления о социальных объектах — так называемые житейские, или обывательские представления, которые имеют мало общего с их научным пониманием. Тем не менее гигантское число дилетантов высказывается о них, сочиняя бесчисленные книги и статьи... А те из них, кто известен и имеет возможности для публичных выступлений, считают себя и признаются другими за высших экспертов в сфере социальных знаний. Таково первое серьезное препятствие на пути научного познания социальных явлений.

Далее, суждения о социальных явлениях неизмеримо сильнее затрагивают интересы различных категорий людей, чем суждения о других явлениях бытия. Поэтому эта сфера изначально находилась и находится теперь под неусыпным контролем официальных идеологов, включая религиозных. Функция идеологии — формирование сознания людей в целях самосохранения данного общества и манипулирования поведением людей, а не познание реальности. В результате создаваемая идеологией картина социальных явлений оказывается искаженным отражением реальности или вообще вымыслом.

Если бы марксизм придерживался научного понимания коммунизма, он должен был бы утверждать неизбежность и в коммунистическом обществе экономического и социального неравенства, необходимость государства и денег, неизбежность классов и других явлений, считавшихся язвами капитализма, и тогда он не имел бы массового успеха. Однако защитники коммунизма создавали ненаучную картину коммунистического общества, раздувая то, что они считали его достоинствами, и затушевывая то, что счита-

лось недостатками «антагонистических» обществ, а критики коммунизма, напротив, изображали и изображают ныне коммунизм как воплощение зла и умалчивая о его достоинствах или искажая их. В настоящее время идеологическое очернение коммунизма и приукрашивание западнизма приняло неслыханные ранее размеры как на Западе, так и в бывших коммунистических странах. Так что о научном понимании коммунизма, как и западнизма, и речи быть не может.

Наконец, серьезным препятствием на пути научного познания социальных объектов является гигантская армия людей, профессионально занятых в сфере науки. Научный подход к социальным объектам составляет лишь ничтожную долю в колоссальной продукции сферы профессиональных социальных исследований. Остановлюсь кратко на том, в каком виде мне представляются социальные исследования, когда я проявил более или менее устойчивый интерес к ним, причем не просто из праздного любопытства, а как исследователь с «поворотом мозгов», радикально отличающимся от такового у многочисленных профессионалов.

В исследованиях социальных объектов затруднен и ограничен, а в основном вообще исключен лабораторный эксперимент в таком виде, в каком он применяется в естествознании. Главными орудиями исследования были личные наблюдения, знакомства с источниками и логические средства. Причем эти логические средства в том виде и ассортименте, в каком они были описаны в сочинениях по логике и методологии науки, и стали известны исследователям. А это был довольно бедный логический аппарат, который сам по себе ограничивал возможности осмысления эмпирического материала.

В ХХ в. был разработан и получил широкую известность диалектический метод. Но его постигла печальная участь. Так, Энгельс придал диалектике вид учения о всеобщих законах бытия, распространив ее на сферы, где она была лишена смысла (даже на математику), и оторвав ее от сферы социальных явлений, где она была бы на своем месте.

Сюда же добавились методы «конкретной» («эмпирической») социологии — сбор и обработка статистических данных о явлениях, имеющих злободневный интерес, а также опрос определенным образом отобранных людей по заранее разработанным анкетам (вопросникам) и обработка результатов этих опросов. Во второй половине века эти эмпирические методы захватили безраздельное господство, оттеснив на задний план теоретические (логические) методы традиционной социологии.

Однако для построения целостной теории коммунизма, западнизма и того типа человеческих объединений, которые стали формироваться после Второй мировой войны, методы конкретной социологии явно не годились. Обращаться к массам людей с вопросами о том, что они думают по поводу проблем, в которых сами обращающиеся ничего не смыслят, по меньшей мере нелепо. Однако в одном отношении «конкретная» социология сделала колоссальный шаг вперед по сравнению с преимущественно теоретической социологией предшественников. Речь идет о разработке и применении количественных методов. Началась буквально оргия величин. Теперь редко речи и публикации на социальные темы обходятся без ссылок на статистические данные. Можно сказать, что началась эпоха количественного взгляда на социальные явления. Количественные величины обрели качественный смысл.

Бесспорно, количественные показатели имеют значение для научного понимания социальных объектов. Более того, без них не обойдешься. Но эти данные не есть нечто объективное: они так или иначе отбираются специалистами и ими же интерпретируются, причем самым различным способом. В результате изобилие цифр стало не столько средством достижения истины, сколько ее сокрытия.

Главное же в том, что значение количественных данных чрезмерно преувеличивалось. Из них самих по себе невозможно извлечь научную социальную теорию, отвечающую требованиям логики и методологии науки. Они могут быть использованы для построения и развития такой теории, для верификации (проверки) ее отдельных положений. Но что именно измерять и вычислять, как и с какой целью, — это зависит от теоретических средств, а не наоборот. Можно, скажем, на основе количественных показателей установить уровень безработицы и предсказать ее эволюцию на несколько лет вперед, но невозможно выяснить реальные причины этого феномена, а следовательно, реализовать в изучении его научный подход.

«Наукой», на мой взгляд, можно называть лишь более или менее систематизированную совокупность знаний, которая характеризуется определенными целями и определенным подходом к изучаемым явлениям, определенным способом мышления и исследования. Вот я и решил в рамках своей логической социологии разработать такие наиболее фундаментальные и очевидные принципы исследования, которые позволят на деле осуществить научный подход к социальным явлениям, можно сказать, сделать реальным научный «поворот мозгов». Для представителей

естественных и дедуктивных наук некоторые черты этих методов представляются само собой разумеющимися: они навязываются самими условиями исследования и высоким уровнем профессионализма. Но такой научный подход, повторяю, образует не одна или несколько общепонятных и общедоступных идей, а сложная совокупность средств, принципов и правил познания.

**Л. М.** В твоих работах по социальной тематике меня всегда поражала одна черта. Ты пишешь страстно, заинтересованно, не скупись ни на предельно резкие оценки, ни на крепкие слова. И вместе с тем у тебя нет и тени моралистики, сетований по поводу конкретных глупостей правителей, неминуемости тех или иных последствий введения очередных законов. Мне это напоминает знаменитую *Enfremdungstheorie* в театроведческой сфере. Бертольт Брехт выразил ее в форме афоризма: «Артист, играющий Гамлета, должен играть не Гамлета, а артиста, играющего Гамлета». Иными словами, он не должен приносить на сцену свои личные переживания и эмоции, а максимально точно и отстраненно передавать драматизм самой жизни. Или, как говорил Спиноза: «Не плакать и не смеяться, а понимать».

**А. З.** Можно сказать и так. В одной из своих книг я писал, что подход исследователя, руководствующегося принципами научного подхода к социальным явлениям, подобен позиции ученого, наблюдающего муравейник: он должен делать это беспристрастно, не раздражаясь и не восхищаясь, не предлагая никаких проектов более «разумного» устройства муравейника. Думаю, нетрудно увидеть, что этого принципа я всегда придерживался в своих даже литературных работах. Впрочем, мы уже касались этой проблемы, когда говорили о взаимоотношении героев моих книг и их прототипов.

Думаю, что иначе и быть не должно, поскольку научный подход исходит из познания реально существующих объектов, а не априорных (предвзятых) представлений, мнений, предрассудков. Если таких объектов нет в природе, никакой науки о них быть не может. Проиллюстрирую эту мысль на примере исследования «коммунизма».

Еще недавно считалось, будто наука о «полном коммунизме» («научный коммунизм») возникла уже в прошлом веке, хотя этого полного коммунизма не было якобы даже в Советском Союзе. Советские теоретики полагали, что советский коммунизм был построен неправильно, поскольку, согласно Марксу, он должен был выглядеть иначе. Научный же подход означает прямо противоположное: брать за исходное реальный общественный строй, как он



сложился в Советском Союзе в силу его конкретных исторических условий и объективных социальных закономерностей, и смотреть, насколько созданная Марксом картина будущего соответствует этой реальности. Неправильной здесь является не реальность, а априорная теоретическая концепция, применяемая к ней.

Если в понятие научного подхода в области социальных исследований включать требование соблюдения правил логики и методологии науки, то можно утверждать, что эта сфера находится на дологическом, донаучном уровне. Чтобы подняться на научный (логический) уровень познания социальных объектов, т. е. человеческих объединений и людей как членов этих объединений, необходимо осуществить логическую обработку языка, на котором люди думают, говорят, пишут, слушают и читают об этих объектах, а также осуществить логическую обработку методов исследования этих объектов. Я назвал такую обработку логической социологией.

Сама логика должна быть для этого радикально перестроена. Я занимался этим уже много лет параллельно с исследованием социальных объектов, включая книги «Коммунизм как реальность» (1981) и «На пути к сверхобществу» (2001). Но обстоятельства складывались так, что не оставалось времени и сил дать систематическое изложение моей логической социологии. Пока удалось опубликовать лишь вводный и предельно упрощенный курс лекций (Логическая социология. 2002).

Однако многие неразработанные проблемы и неизжитые предрассудки еще сохраняются. До сих пор считается, будто законы познания суть отражения законов познаваемого бытия. В результате методология науки превращается в популяризацию содержания конкретных наук, в философствование по поводу конкретных открытий науки. Между тем законы логической социологии не являются отражением законов бытия, они вообще ничего не отражают. Это законы самой деятельности людей по отражению (познанию) законов бытия.

**Л. М.** Это была проблема, едва ли не самая популярная среди логиков. Помню, как мы, студенты, доводили чуть ли не до истерики руководителей кафедры вопросами о том, что отражают законы формальной логики. «Объективные законы окружающего мира», — заученно повторяли они расхожий «материалистический» штамп. Но мы не унимались. — «Что отражает, например, закон тождества?» — «Качественную определенность предмета». — «А закон исключенного третьего?» Указать на объективные свойства было уже сложнее. Я и сам столкнулся с этой проблемой, когда писал диплом о законе достаточного основания. Конечно, от

меня ждали определенного ответа: он отражает объективные связи. Недавно я перечитал свой текст. Нет, я все-таки сообразил, что он представляет собой идеализацию (перенесение в мыслительную сферу) способов оперирования (мысленного освоения предметов). Не бог весть какое открытие, но все-таки, значит, сообразил, что сознание возникает в трудовой деятельности. А помнишь, какую ярость у «диаматчиков» вызвала беспрецедентная по своему объему статья Э. В. Ильенкова «Идеальное» во втором томе «Философской энциклопедии» (1962), в которой оно понималось как «отражение внешнего мира в формах деятельности человека». Так что твое понимание законов отражения действительно носит фундаментальный характер не только в твоей логической социологии, но и при построении общей научной теории познания.

**А. З.** То же самое я сказал бы и относительно моей трактовки социальных объектов. В основу ее я положил допущение, что все в мире есть результат комбинирования элементарных частиц — атомов. Тогда ответ на вопрос, что считать элементарными атомами в социальной сфере, напрашивается сам собой. Не просто люди со всеми теми свойствами, которые у них можно обнаружить, а лишь с такими, которые непосредственно играют социальную роль и учитываются в определении человека как социального атома. Человек в этом случае состоит из тела, способного выполнять необходимые для его существования действия, и особого органа, управляющего телом, — сознания, функция которого — обеспечить поведение тела, адекватное условиям его жизни, и его самосохранение. Здесь также не изжиты многие предрассудки. Так, преобладает взгляд на человеческое сознание как на особую идеальную (нематериальную) субстанцию, принципиально отличную от субстанции материальной (вещной). Однако никакой бестелесной (нематериальной, идеальной) субстанции вообще не существует. Сознание есть состояние и деятельность мозга человека со связанной с ним нервной системой. Идеи (мысли) суть состояния клеток мозга и комплекса вполне материальных знаков.

**Л. М.** Попробую воспроизвести последовательность твоих исследовательских интересов. Стремясь объяснить состояние окружающего тебя общества, ты обращаешься к научной литературе и неожиданно обнаруживаешь, что в ней господствуют весьма поверхностные представления и концепции, грубо искажающие реальность. Приходится заняться изучением реальности самому, но выясняется, что сколько-нибудь надежная, удовлетворяющая строгим научным критериям методология социальных исследований отсутствует. Тогда ты первым вводишь в практику (можно

сказать, изобретаешь) новый инструмент исследований — социологический роман. Наиболее знаменитым его образцом являются «Зияющие высоты», вознесшие тебя к мировой известности. Однако это уже завершённое произведение, результат конкретного применения общих принципов исследования социальных явлений, а поэтому, все более сталкиваясь с масштабными изменениями в мире, ты все более ощущаешь необходимость разработки и изложения этих принципов в общей теоретической форме, в жанре научного трактата. И ты предпринимаешь титанические усилия по разработке методологии изучения социальных объектов, которую называешь логической социологией. Об основных принципах ее ты только что рассказал. Теперь можно приступить к конкретным исследованиям, для чего, как ты пишешь в одной из своих работ, «достаточно иметь голову на плечах, правда, голову, специально подготовленную и обученную этому». При этом ты постоянно предупреждаешь, что применение логической социологии носит не механический, а творческий характер, ученый должен постоянно совершенствовать свою методологию, а продукт его творчества должен сам становиться аппаратом его творчества.

**А. З.** В общем, я могу согласиться с такой картиной. Но все-таки это схема. В реальной жизни можно говорить не об отдельных этапах моей творческой биографии, четко отделенных друг от друга, а скорее, об акцентах, ведущих лейтмотивах повседневной деятельности. Я не только осваивал новые темы, но постоянно что-то дописывал, уточнял, развивал в моих уже изданных публикациях. И часто это было результатом не каких-то особенностей моей работы, а вынужденной реакцией на разнообразные внешние обстоятельства. Я не люблю об этом говорить, но в первые годы эмиграции я оказался в весьма трудных материальных условиях.

**Л. М.** Да, и здесь у тебя слово не расходилось с делом. В своих работах ты неоднократно повторяешь: способность устраиваться в этом мире и способность адекватно познавать его — разные вещи. Я хорошо помню твою купленную в рассрочку скромную квартиру на втором этаже крохотного домика в окрестностях Мюнхена, твой персональный земельный участок — метра четыре на пять — с березкой, несколькими кустиками, скамейкой; помню твою озабоченность долгами, конца и края которым было не видно. Да и ты сам мне говорил, что приходится браться за любую работу, выполнять заказы, ни в каком отношении тебе не интересные. Помню твои слова: «Если бы мне даже заказали за три года написать оперу, я согласился бы. И даже написал. Год я бы потратил на то, чтобы понять, как сочиняются оперы, а два года на то,

чтобы ее сочинить». И это у автора, тиражи книг которого были едва ли не самыми большими в мире, и на них издатели наживали баснословные состояния! Но мне тогда уже показалось, что вся эта проза жизни оставалась на периферии твоих переживаний и забот. Душа твоя оставалась в России, а ее судьба прежде всего волновала тебя и как человека, и как исследователя. Она, собственно, и была главной темой твоих размышлений. И здесь можно констатировать один парадокс, который стал особенно заметным после твоего возвращения.

Когда люди узнавали о твоей вынужденной эмиграции, то они обычно понимающе качали головами: «Чему быть, того не миновать. Автор такой ядовитой сатиры на брежневское правление ни на что другое рассчитывать не может». Твоя жизнь приравнивалась к судьбе А. И. Солженицына, М. Л. Ростроповича, А. Д. Сахарова, диссидентов, религиозных экстремистов. Когда же совершилась «перестройка», были разрушены все карательные и силовые структуры и обратно потянулись тысячи пострадавших людей, которые с предельной искренностью стали обличать репрессивный строй, то вопрос о твоём возвращении встал как бы сам собой, и это никого не удивило. Удивление пришло позже. Оказалось, что Зиновьев, который когда-то участвовал в заговоре против Сталина, который не только не разделял официальных партийных идеалов, но во весь голос их высмеивал, внезапно стал сталинистом. Он защищает коммунизм как наилучший социальный строй для России, отвергает саму идею перестройки, которая, по его мнению, принесет России неисчислимые беды, издевается над надеждой россиян стать «цивилизованными» гражданами.

Может быть, я что-то выразил неточно, где-то переставил акценты, но рефрен был совершенно определенным: «Тот самый Зиновьев...». Подобные высказывания я слышу до сих пор, причем от людей, которые хотя бы по долгу своей профессии должны знать существо твоих взглядов на судьбы России и понимать, что такие представления имеют с ними мало общего.

**А. З.** В каком-то смысле анализ коммунизма интересовал меня всю жизнь. Это чувствуется уже в заголовках моих ранних книг: «Зияющие высоты», «Светлое будущее», не говоря уже о более поздних. Это вполне естественно. Если желаешь разобраться в том, что происходит в стране Советов, то должен понять, что такое коммунизм, потому что все, совершающееся в СССР (массовые расстрелы, преследования диссидентов, борьба за партийность науки и искусства), делалось ради построения такого социального строя. Но оказывается, что этой проблемой занимается многочис-

ленная армия обществоведов — штатные специалисты по «научному коммунизму».

Уже в МИФЛИ, знакомясь с их продукцией, я увидел, что ничего общего с наукой она не имеет. Подозрение вызывало само название дисциплины: что такое «научный коммунизм», почему не «наука о коммунизме»? Постепенно разъяснялось, что за ним скрывалась принципиальная вещь, а именно: главная установка — не изучение состояния советского общества и возможности его реального перехода к более «высокой» стадии. Это был фрагмент официальной идеологии, в псевдонаучной форме повествующий о задачах и обязанностях советских граждан в коммунистическом строительстве. «В псевдонаучной» — потому что основное внимание уделялось не объективному исследованию существующего общества и перспектив повышения уровня его развития (научно-технического прогресса, благосостояния населения, степени демократии, свободы и т. д.), а прославлению достигнутого состояния (даже ценой беззастенчивой фальсификации реального положения) и мобилизации населения на выполнение очередных партийных программ (даже если они носили заведомо утопический, как сегодня сказали бы, популистский характер). Классический пример — торжественно провозглашенная Хрущевым программа построения коммунизма к 1980 г.

Мне же с самого начала все эти громогласные заявления относительно успехов в реализации великих указаний классиков марксизма-ленинизма, примеры фактически выдуманных или нетипичных «ростков», «маяков» будущего общества внушали только отвращение. Моя исследовательская программа была в корне противоположна официальной. В результате действия различных — и объективных, и субъективных факторов, рассуждал я, сложился конкретный строй со своей социальной структурой, промышленностью, сельским хозяйством, межличностными отношениями, со всеми его достижениями и недостатками. И задача состоит в том, чтобы беспристрастно проанализировать специфические черты этой реальности, как они существуют в жизни, а не в официальных проектах и программах. Впоследствии я так и озаглавил одну из своих наиболее знаменитых книг — «Коммунизм как реальность».

Далее. Общество состоит из реальных людей, которые своим трудом обеспечивают то, что называется развитием общества. Мера его совершенства определяется не столько объемом выплавки чугуна или производства тракторов, сколько тем, в какой мере удовлетворятся специфические и исторически сложившиеся

ся потребности населения страны. Иными словами, как ощущают себя в жизни реальные граждане. Значит, нужно зафиксировать и охарактеризовать некие конечные, далее неделимые кирпичики человеческого общежития, иными словами — межличностные взаимоотношения. Не через обобщенные данные, а посредством воссоздания наиболее характерных субъектов производственной и общественной деятельности, но не, как говорится, простых людей, а тех, в суждениях которых предельно образно проявляются черты этой реальности, т. е. личностей как носителей социальности, как органических элементов неповторимого российского «социума». Наиболее подходящими для выполнения такой задачи являются язык и жанр художественного произведения.

**Л. М.** Ну и к каким основным выводам ты пришел? Попробую несколько облегчить твою задачу. Я отыскал магнитофонную запись беседы с тобой в Мюнхене примерно в 1990 г. Во время нее я спросил, как ты относишься к перестройке и ее возможным результатам. Идет ли она так, как ты предсказывал несколько лет назад. Приведу твой ответ с некоторыми сокращениями.

«Отчасти произошло так, как я и предполагал, отчасти не так. Я предсказывал, что все задуманные и Горбачевым, и потом Ельциным реформы неминуемо провалятся. Никакое общество западного типа в России не построишь, дело может кончиться только разрухой. Так оно и получилось. Но я также писал, что когда дело дойдет до разрухи, население восстанет, и весь этот горбачевско-ельцинский режим будет сметен. Этого, как ты понимаешь, не случилось.

Все дело в том, что в своих расчетах я не принимал во внимание один решивший все дело поворот событий, а именно: способность высшего советского руководства пойти на самое настоящее предательство интересов страны и народа. Мне в голову просто не могло прийти, что высшие руководители партии будут разрушать свою собственную партию. Что высшие идеологи страны откажутся от своей собственной идеологии, не просто откажутся, а будут ее всячески дискредитировать. Убедившись в том, что их замыслы провалились, они, спасая свою шкуру, открыли крепость, неприступную для Запада, и сами по существу превратились в помощников Запада в разгроме страны. Горбачев, и я об этом писал неоднократно, причинил стране больше вреда, чем все враги Советского Союза, вместе взятые. Ельцин продолжает линию Горбачева, линию на разрушение страны. Вот этот фактор я не принимал во внимание. В истории человечества такого никогда не было, это беспрецедентный случай. “Холодная война” перешла

в теплую, идет разгром страны, это война нового типа, и идейно государственно-политические лидеры страны перешли на сторону врага. И они довели страну до такого состояния, что сегодня отмобилизоваться и оказывать сопротивление им очень трудно, и трудно сказать, удастся ли это вообще сделать. Потому что страну предали, продали с потрохами. Предали не только нашу страну, но и две трети человечества, которые с надежной смотрели на нас: кубинцев, никарагуанцев, африканцев, югославов — всех.

Я с самого начала говорил, что горбачевское намерение с самого начала было намерением обмануть не только людей, но и законы человеческой истории. Так, они вознамерились в 500 дней перевернуть ее вверх дном. Как я говорю в своей “Катастрожке”, они решили: “Если Бог сотворил мир в течение 7 дней, то почему бы нам за такой же срок не переделать Россию?” Сейчас я все больше прихожу к убеждению, что все эти люди с самого начала не верили в реальность своих планов, и с самого начала у них была установка на разрушение страны. Тем более (а это я знаю на сто процентов), что такая программа была запланирована на Западе с момента окончания Второй мировой войны. Но это удалось только им, потому что народ поддался на удочку, они сумели его развратить. Все эти проблемы я подробно рассматриваю в книге “Кризис коммунизма”.

Причем я утверждаю, что не менее подлую роль сыграли так называемые интеллигенты, которых я чаще называю избыточными болтунами (социальные писатели, философы, филологи и т. д., т. е. люди, которые так или иначе имеют дело с духовной культурой, с идеологией, с общественной психологией). Они также оказались в лагере врагов народа. Лишь единицы, и то с большим опозданием, выступили против или остались пассивными. А основная масса так называемых интеллигентов поддержала и горбачевское, и ельцинское руководство. Так что роль предателей сыграла не только партийная верхушка, но и подавляющее число интеллектуалов. Если бы интеллектуалы отнеслись с полной ответственностью к судьбам страны, судьбе народа, ничего подобного не произошло бы».

**Л. М.** Прошло 15 лет, мы живем в другой стране. Теперь ты можешь наблюдать ее непосредственно. Уверен, что эти суждения сохранили свое значение и в личном, и в общественном смысле. Однако много воды утекло за эти годы, и мне интересно твое мнение о последующих событиях. Насколько точными оказались прогнозы, которые часто встречаются в твоих работах, и чего можно ожидать в будущем? Надеюсь, что из твоего рассказа станет ясно, превратился ли Александр Зиновьев из антисталиниста в его поклонника.

Р. С. По мере сил я старался как можно полнее и достовернее рассказать об Александре Александровиче Зиновьеве, философе, оказавшем решающее влияние на профессиональное самосознание целого поколения философов и социологов. Об этом хорошо сказал В. А. Лекторский. Он справедливо отмечает, что в 1954—1955 гг. на философском факультете МГУ происходили поистине революционные изменения, в результате которых он стал центром развития философии в нашей стране. Главная заслуга в этом, по его мнению, принадлежала Э. В. Ильенкову и А. А. Зиновьеву — двум молодым преподавателям, которые «стали возмутителями философского спокойствия и повели за собою молодежь». Тематика их диссертаций, продолжает он, «может показаться весьма специальной. В действительности же речь шла о формулировании новой философской проблематики и об оппозиции целому ряду догм официального диамата и истмата».

Разумеется, В. А. Лекторский ясно видит различие подходов Ильенкова и Зиновьева к теории познания. Ильенков шел от немецкой философской классики (Кант, Фихте, Гегель), его прежде всего интересовали природа идеального, проблемы личности, творчества, деятельности, воображения, фантазии. «Не случайно среди его учеников и сподвижников оказалось немало выдающихся деятелей в этих областях (назову только В. В. Давыдова, В. П. Зинченко, А. И. Мещерякова). Значительная часть наших известных философов последующего времени (В. С. Библер, Г. С. Батищев, Ф. Т. Михайлов, В. М. Межуев, М. К. Петров и др.) были либо его непосредственными учениками, либо испытали серьезнейшее влияние его идей. Как сказал впоследствии один из них: «Все мы вышли из ильенковской шинели».

В свою очередь, в работах Зиновьева, отмечает он, шла другая интерпретация философской методологии... Упор здесь делался на выявление методологии (исследовательских систем, логических принципов, правил, «приемов», операторов), способов познавательной деятельности и их увязанности в определенные структуры. Впоследствии ряд представителей этой школы ушел в область математической логики, другие стали заниматься системно-структурными исследованиями (предвосхитив некоторые идеи французского структурализма — это ранние работы Б. А. Грушина и М. К. Мамардашвили), третьи (Г. П. Щедровицкий) стали заниматься системно-деятельностной методологией, четвертые отошли от исходной сциентистской установки и ассимилировали идеи феноменологии и экзистенциализма (М. К. Мамардашвили). Между этими двумя линиями в философском движении 50—70-х



годов в нашей стране существовали непростые отношения. Нередко между этими школами, одинаково отвергавшими официальное истолкование марксизма, возникала острая полемика, но в целом они дополняли, обогащали друг друга.

И далее: «Оглядываясь назад, я особенно ясно представляю себе революционизирующую роль для нашей философии того, что Ильенков и Зиновьев сделали в середине и второй половине 50-х годов. Дело не только в том, что они были родоначальниками интересных школ в определенной области философии. Я считаю, что их идеи и программы означали принципиальный рубеж, новую точку отсчета в развитии нашей философии в целом. Так же, как мы делим немецкую философию на докантовскую и послекантовскую, а русскую литературу — на допушкинскую и догоголевскую и послепушкинскую и послегоголевскую, так же мы можем делить советскую философию послевоенного времени на доильенковскую и дозиновьевскую и послеильенковскую и послезиновьевскую... Работы Ильенкова и Зиновьева означали создание совершенно новой ситуации в нашей философии, создание новой проблематики. Это было как бы открытием нового мира. И новых, по-настоящему философских методов исследования. Те, кто работал в нашей философии после них, сколь далеко бы ни расходились их идеи между собой и сколь сильно бы они ни отходили в некоторых пунктах от идей своих учителей, были бы невозможны без Ильенкова и Зиновьева».

От себя я бы добавил следующее. Были на факультете и другие молодые специалисты, особенно среди недавних фронтовиков, которые ясно видели, какая затхлая обстановка царила на факультете в последние годы жизни Сталина и какие невероятные усилия прилагало его руководство к тому, чтобы навсегда сохранить эту атмосферу скудоумия, цитатничества, идеологических доносов. Но именно Ильенков и Зиновьев выступили в роли таранов, пробивших брешь в зловещем монолите догматизма и двоемыслия и шли до конца.

Я близко знал и того, и другого и видел, какие теплые и дружеские отношения их объединяли. И вместе с тем они были разные люди, и, к сожалению, никто из близко знавших людей пока не составил полного (психологического, эмоционального, эстетического) сопоставительного портрета этих мужественных ученых. Я же сейчас постараюсь завершить мое интервью с Зиновьевым и, может быть, мои дальнейшие заметки о нем что-то подскажут будущим авторам.

Зиновьев реализовался как личность и как ученый, несмотря на все препятствия, которые встречались на его пути. И понять при-

чины этого, на мой взгляд, невозможно, если не учитывать одного удивительного факта — при всей своей страстности и творческой целеустремленности одним из предметов своих исследований он сделал самого себя.

Александр Александрович Зиновьев — один из немногих людей, о котором в прямом, а не переносном смысле можно говорить как о философе, достигшем мировой известности. И эта оценка присутствует во всех серьезных работах о его творчестве. Но мне хотелось бы выразить эту мысль в каком-то будничном, не юбилейном стиле. Я вспоминаю 1957 г., когда я в качестве заместителя заведующего отделом культуры и науки «Литературной газеты» готовил к печати очерк известного журналиста Ардаматского о подвиге Девятаева, который, будучи в плену, сумел захватить немецкий самолет и долететь до советских войск. В нем он упоминает о недавней встрече со знаменитым летчиком (который, само собой понятно, был арестован и провел несколько лет в лагерях, прежде чем был удостоен звания Героя Советского Союза). Мы сидели за скромным столом, рассказывает он, выпили, закусили. Он немного захмелел и вновь переживал тот памятный день. Я сидел и думал, продолжал автор, что этот худой, изможденный человек какой-то особый, не похожий на остальных.

Вот, собственно говоря, те чувства, которые я испытываю, глядя на Александра Александровича Зиновьева. Мы знакомы с ним около полувека, много было выпито вместе, много встреч и разговоров, и пора было бы уже ощутить непосредственность отношений. И все же, слушая или читая его, я по-прежнему понимаю: этот, не такой уж внушительный человек — какой-то другой и в жизни, и в творчестве, отделенный какой-то незримой стеной от нас, грешных.

Но дело не только в содержании. Разрабатывая теоретический арсенал, соответствующий его исследовательскому подходу, он проявил удивительную лексическую изобретательность, введя в широкий обиход массу неологизмов. Думаю, немного серьезных произведений о современной России обходятся без таких терминов, как *Ното soveticus*, «человеиник», «западнизм».

\* \* \*

«А. А. Зиновьев, как показывает опыт, человек, который умеет писать книги, но не умеет устраиваться в жизни. И ему понадобилось много лет, чтобы создать предпосылки для возвращения...

Самое броское из его суждений: я сам есть целое государство. Он называет себя человеком из Утопии, имея в виду советскую ре-

альность с ее жестокостями, грязью, вшами, стукачами и т. п. и советскую идеологию с ее высокими гуманистическими ценностями. Он умеет их соединить таким образом, что второе не является прикрытием первого. Зиновьев лучше, чем кто-либо другой, понимает, что утопия коммунистической идеологии имела мало общего с реализовавшейся утопией советской действительности...

Еще Зиновьев считает себя искусственным созданием, результатом эксперимента, который он всю жизнь совершает над собой. Такой человек, как он, считает Зиновьев, не может сложиться естественным образом. В одном из романов (в “Глобальном человеичнике”) он появляется в виде инопланетянина. В “Зияющих высотах” помимо Болтуна является еще Крикуном, Шизофреником, Неврастеником...

Все эти самоаттестации можно было бы считать шуткой, если бы мы не узнали вдруг от него в “Русском эксперименте”, что он вообще не умеет шутить. И я ему верю. Дело в том, что банальность жизни, на которую натываются высокие стремления, что и составляет основу комикса, шутки, он рассматривает как самую серьезную и существенную характеристику ее. Он не умеет шутить в том смысле, что для него нет ничего более серьезного, чем шутка. В его шутках нет ничего шутливого. Например, все мы думали, а многие до настоящего времени думают, что в “Зияющих высотах” он шутил, сатирически высмеивал, изобличал. А сам Зиновьев считает, что это — самое серьезное, более того — научное, хотя и выполненное в художественной форме исследование советского общества» (из статьи А. А. Гусейнова «Об Александре Зиновьеве и его социологии» (см.: Феномен Зиновьева. М., 2002. С. 247, 248).